МАКСИМ ЗАМШЕВ

КОН-
ЦЕРТ-
МЕЙ-
СТЕР

Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
З 26

Оформление обложки Виктории Манацковой

© М. А. Замшев, 2020
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®

ISBN 978-5-389-24234-0

1985

1985 год в СССР заканчивался как любой другой. Люди привыкали к зиме и её неудобствам, ждали новогодних праздников, строили планы, гонялись за дефицитными продуктами и одеждой, искали в телевизионных программах и афишах кинотеатров что-нибудь хоть мало-мальски увлекательное и представления о мире составляли преимущественно из газет и сплетен. Восьмидесятилетний композитор Лев Семёнович Норштейн, автор девяти симфоний, двух балетов и множества произведений для фортепиано, газет давно не читал и сплетням не верил. Полагал всё это пустым, лишним и лживым. Всего мелкого, суетливого, житейского он сторонился. Не на шутку раздражался, когда его дочка Светлана Львовна, по мужу Храповицкая, вовлекала его в разговоры о ничего не стоящей бытовой чепухе или, не дай бог, о том, что где-то вычитала или услыхала.

Живо интересовался Лев Семёнович лишь делами своего младшего внука Дмитрия. В этом году тот заканчивал школу, впрочем в последние месяцы старика больше волновало то, что Димка, похоже, всерьёз увлёкся дочерью их соседа по подъезду, музыковеда Эдварда Дипского. В Дипском Норштейн разочаровался, когда тот принялся строчить одну за одной статейки, проклинавшие композиторов-авангардистов. Лев Семёнович хоть и не испытывал восторга от музыки Денисова, Кнайфеля, Смирнова, Губайдулиной, Фирсовой и других, попавших в 1979 году под огонь критики руководителя Союза

композиторов СССР за буржуазный модернизм, всё же был на их стороне. Дипский же, как и другие деятели, вовсю принявшиеся после той истории подпевать Хренникову, сочувствия не вызывали.

Не хватало ещё породниться с Эдвардом!

Норштейн часто вспоминал, как спустя несколько дней после зубодробительного выступления Тихона Николаевича Хренникова случайно услышал разговор заведующего кафедрой композиции Московской консерватории Альберта Лемана с Еленой Фирсовой. Леман назойливо выспрашивал у женщины, что у них произошло с Тихоном Николаевичем, и рекомендовал прийти к первому секретарю Союза композиторов и повиниться. Дело было в подмосковном Доме творчества композиторов «Руза», в умиротворяющий послеобеденный час, на скамейке напротив столовой. Тогда он подумал: хорошие времена! — при Сталине после такого разноса его жертвам было бы не до летнего отдыха. Потом околомузыкальная общественность выработала версию: Хренников якобы рассвирепел, что модернисты без согласования с ним и иностранной комиссией Союза композиторов отдали свои сочинения для исполнения на Западе. По тем временам это приравнивалось к преступлению и требовало наказания. Более того, на концертах из произведений советских модернистов в Берлине и Париже наблюдался невиданный аншлаг. К опусам же самого Хренникова на Западе такого интереса никогда не возникало. Судачили также и о том, что после пленума лидер авангардистов Эдисон Денисов объявил Союзу композиторов непримиримую войну.

Но Норштейн в это не верил.

Ни в мотивацию Хренникова, ни в войну Денисова. Он давно жил и не раз убеждался, что такие вещи так просто не объясняются.

Ещё не так давно Норштейн о симпатии внука не подозревал. Но как-то, около месяца назад, во время

своего очередного, ни в какую погоду, кроме проливного дождя, не отменяемого моциона Лев Семёнович наткнулся на молодых людей о чём-то взахлёб болтающих на скамейке, довольно нелепо и одиноко кривившейся под облетевшими липами на краю детской площадки. Норштейна первой заметила Аглая, резко замолчала, тронула Диму за рукав. Тот, обернувшись, смутился, покраснел. Как и многие подростки, Димка раздражался, когда родные набивались в свидетели его горячих увлечений.

Короткий разговор деда с внуком получился вымученным. Аглая нетерпеливо ёрзала, хоть и улыбалась Льву Семёновичу так, будто только его мечтала сейчас встретить.

Норштейн огорчился. Поведение внука выдало его с головой. Лучше бы он влюбился в какую-нибудь одноклассницу!

Аглая всегда выделялась среди сверстниц. Нет, она не блистала красотой, но нечто такое присутствовало в её ямочках на щеках, в прямых русых волосах, в изящной повадке, в улыбке с мягким прищуром, что вынуждало память зацепить её образ и больше не отпускать.

«Какой она выросла? А вдруг девица так же цинична, как её папаша? — терзался Лев Семёнович. — Тогда Димка обречён страдать. Наверняка у неё полно ухажёров. Вряд ли она относится к мальчишке серьёзно. Так, баловство».

Норштейны жили в доме Союза композиторов, на улице Огарёва, 13. Дом был построен в 50-е и теперь выглядел памятником монументального строительства. Его длинное многоподъездное тело врезалось в улицу Огарёва под прямым углом. Тут же находились и Дом композиторов, и Союз композиторов, и нотная библиотека. Музыкальный город в городе. Казалось бы, чего ещё желать? Понадобится поговорить с кем-то из композиторского начальства, далеко ходить не надо! Да и соседи сплошь му-

зыканты, родные души! Но Норштейн с недавнего времени относился к своим коллегам по цеху не без прохладцы и от общения с ними восторгом не преисполнялся.

Чем так провинились советские композиторы перед Львом Норштейном? В общем-то, ничем. Просто после смерти Шостаковича Норштейн начал стремительно разочаровываться в композиторской профессии. Его преследовала мысль, что многовековое обновление музыкального языка окончательно исчерпано. После великих Прокофьева и Шостаковича ни у кого больше ничего сравнимого с их шедеврами не получится. Все поиски уже давно свелись к музыкально смысловой неразберихе и обречены на почти немедленное забвение. Скоро серьёзная музыка будет доставлять удовольствие лишь профессионалам, превратится в череду тембровых и формальных фокусов, в брызги авторского эго. А от всего огромного числа советских композиторов, безмерно тщеславных, амбициозных и социально обеспеченных, скоро останется пшик. «А как же Свиридов?» — спрашивал он себя. Исключение, потонувшее в страшных философских омутах, невероятный талант, ни с того ни с сего возомнивший себя тем, кто решает, что для русской музыки хорошо, а что плохо.

Поначалу он пугался себя, но остановиться и забыть этот морок не выходило. Чем чаще он размышлял об этом, тем больше находилось примеров, подтверждающих его горчайшую правоту. Увы... Теперь его охватывало жалостливое презрение к себе и другим сочинителям музыки, тщетно пытавшимся чего-то достичь.

Нельзя быть не гением, когда в мире столько гениальной музыки!

Сознавал ли сам Норштейн, что его настраивала на такой пессимистический лад трагедия Александра Лапшина?

Тот, кто мог стать первым в русской музыке, затерян в глубине своей нелепой судьбы и не собирается из неё выбираться.

И уже не выберется.

С Лапшиным Норштейна в конце тридцатых познакомил Николай Яковлевич Мясковский, в классе которого тот учился на несколько лет позже, чем сам Лев Семёнович. После окончания консерватории Норштейн сохранил с учителем близкие творческие отношения, и Николай Яковлевич не возражал против того, что его бывший ученик частенько заходит к нему и наблюдает, как он занимается с новыми дарованиями. Лапшина Норштейн сразу выделил из других студентов-композиторов. Даже внешне он отличался — интеллигентный, собранный, тонкий, ни грамма бравады. Да и работы его обращали на себя внимание особой органичностью, стремлением индивидуализировать каждую фразу. Запомнился Льву Семёновичу тот день, когда Шура показывал учителю дипломную работу, вокально-симфоническую поэму «Цветы зла» на стихи Бодлера. Звучало ошеломляюще свежо и талантливо. Норштейн ликовал, но Мясковский хмурился, будто предчувствуя жуткую драму, ожидавшую Лапшина в будущем.

То, что Шуриньку лишили консерваторского диплома из-за этой поэмы, сочтя её упаднической, ещё полбеды. Потом судьба, сменив гнев на милость, сделала его в 1941 году членом Союза композиторов, оставила живым в ополчении, куда он записался сразу после начала войны, и дала возможность с 1945 по 1948 год преподавать в Московской консерватории. И даже то, что его в разгар борьбы с космополитизмом выгнали с работы, обрекая его семью на полуголодное существование от одного случайного заработка до другого, можно было стерпеть — всё же не арестовали и не убили. Но после реабилитации и возвращения в Москву в 1956 году Веры Прозоровой, сообщившей всему музыкальному

сообществу, что Александр Лапшин донёс на неё в органы, — жизнь Лапшина превратилась в настоящий ад.

Тогда вернувшимся из ГУЛАГа верили безоговорочно. А среди друзей Прозоровой были Рихтер, Нейгауз, Фальк, Пастернак. Лапшина отвергли, его прокляли, с ним демонстративно не здоровались, не хотели разучивать его произведений. Возможность дать ему объясниться даже не обсуждалась.

После смерти тиранов пострадавшие от них обретают тираническую беспощадность к виновным в своих бедах.

В 70-е, до отъезда в Израиль, только Рудольф Баршай осмеливался исполнять музыку Лапшина. Лев Семёнович посетил один такой концерт. Сочинения по-прежнему трогали, стилистически оригинально продолжали Малера, при этом звучали удивительно по-русски чисто и трогательно. Но клеймо предателя всё же нарушило нечто в лапшинском идеально гармоничном строе, ноты будто чем-то перебаливали и не могли никак справиться с нарастающей хворью.

Норштейн огорчился.

Как же жаль Шуриньку!

Когда он окликнул Александра Лазаревича, выходящего из служебного подъезда Большого зала консерватории, тот не обернулся. «Может быть, не услышал?» — успокоил тогда себя Лев Семёнович.

Верил ли Норштейн в то, что Лапшин стукач? Прозорова приводила серьёзное доказательство: следователи при допросах продемонстрировали знание того, что она обсуждала только с ним. Александр Лазаревич никогда не пытался публично оправдаться. Многие полагали, что этим он всё признаёт.

История Лапшина, как паутина, опутывала сознание Норштейна и, как он ни стремился скрыться от неё, мучила вопросами.

Как такое могло случиться?

Если Лапшин доносчик, это ужасно. Но способен ли столь подлый человек создавать такие потрясающие произведения?

Исключать, что Александра Лазаревича оклеветали, тоже никак нельзя! Тогда почему никто за него не вступается? Не возвращает ему доброе имя?

Это, да и не только это, с годами разъедало Льва Семёновича, и в один решительный момент он признался себе, что больше не имеет никакого желания сочинять музыку.

Ночью по Москве кружила пурга, забираясь во дворы, в домовые ниши и углы, дразня немигающие фонари и отсыревшие афиши, проверяя на прочность кривые провода и печально-вытянутые антенны, мелко стуча в молчаливые двери и заклеенные окна, заставляя случайных ночных прохожих пониже опускать головы. Это было похоже на то, как оркестр из снежинок на время лишился бы дирижёра и пребывал бы в разрушительном хаосе, потеряв и форму, и содержание. Ветер, как охрипший бас, силился взять ноту, но всё время срывался и от отчаяния хватался за стволы и ветви деревьев, яростно раскачивая их туда-сюда.

Тревожно подрагивали стёкла в большой квартире на седьмом этаже в композиторском доме на улице Огарёва. Только под утро природа унялась, и снег пошёл крупно и ровно, почти вертикально.

Лев Семёнович против обыкновения спал неважно. Сон сваливался на него тяжёлыми удушливыми клочками, а мягко обнял только под утро. Приснилась покойная супруга Машенька, которая не являлась уже несколько лет. Во сне она что-то тихо пела высоким, почти колоратурным сопрано, звуки мелодии разливались легко и привольно. Узнавался дивный романс Александра Власова «Бахчисарайский фонтан». Маша при жизни, слушая его, всякий

раз не удерживалась от слёз. Дальше сон обрёл нежданную упругость, такую, что Норштейн проснулся в давно забытом беспокойстве, которое, правда, быстро сошло на нет, но приятное цельное тепло в теле какое-то время ещё оставалось.

Лев Семёнович разглядывал падающие снежинки. Он не позволял никому занавешивать окна у себя в комнате. Мир за окном ничем ему не мешал.

Сейчас в голове навязчиво и зримо проигрывалась прелюдия Дебюсси «Шаги на снегу». К чему бы это?

Похоже, дочь и внук ещё спали.

Лев Семёнович нащупал тапки и осторожно поднялся. В коридоре успокаивающе пахло книжной и нотной пылью. Он тщательно умылся в ванной прохладной водой и, стараясь не шуметь, вернулся к себе в комнату.

Он уже много лет не позволял себе отказываться от утренних приседаний, даже если чувствовал себя скверно. Восемьдесят повторений! Надо согнуть и разогнуть колени столько раз, сколько тебе лет. Светлана чуть ли не каждый день как заведённая твердила, что это опасная, непозволительная для его возраста глупость, что рано или поздно это кончится инсультом или инфарктом, но Лев Семёнович упорно ничего не менял в своём распорядке.

После приседаний организм заводился, чтобы ровно и надёжно доехать до вечера, а потом снова спрятаться в сны и там набраться сил для следующего дня.

Норштейн гордился тем, что выглядит максимум лет на 65 и никого в своём возрасте не стесняет.

За окном неохотно светлело. Рассвет подбирался к субботнему городу, чтобы установить свой неброский дневной порядок часов до пяти вечера.

О смерти Норштейн не думал, не подпускал её к себе — находясь от неё на расстоянии, намного легче уверить себя в её несерьёзности. За долгую

и ухабистую жизнь он пришёл к выводу, что люди, боящиеся собственного ухода, как правило, ни во что не ставят жизни других. И поэтому страх того, что тебя когда-то не будет, представлялся ему постыдным и недостойным нормального человека.

Боязнь умереть — непростительный эгоизм.

Глядя на неторопливые, исполненные достоинства белые хлопья, он прислушивался к хорошо знакомым звукам, доносившимся из комнаты Светланы. Вот длинно скрипнула дверь гардероба. Значит, она собирается одеваться. Всю свою одежду, и домашнюю, и уличную, дочь всегда аккуратно вешала в шкаф. Не терпела, когда что-то висело на стульях, а тем более валялось на диванах или, не дай бог, на полу. Отчаянно сердилась из-за этого. Это у неё от матери, считал Норштейн. Та тоже была помешана на порядке и чистоте.

Между тем Арсений, его старший внук, уже почти два года не приезжал в Москву. Да и по телефону они разговаривали всё меньше. Вот и пару дней назад, когда он, выбрав момент, набрал его номер, трубку никто не взял. Опять на гастролях? Или просто так совпало, что его нет дома? Или всё-таки их общение, как всё запретное, истончилось до предела и вот-вот оборвётся?

Нельзя в это верить. Так не будет. Не может быть так.

Он почти смирился с тем, что два его внука растут порознь. Но не терял надежды на то, что когда-нибудь всё изменится и встанет на свои места.

Светлана заглянула к нему. Убедившись, что отец не спит, удалилась на кухню готовить завтрак.

Вчера в магазине «Диета» на Кутузовском проспекте выдали очередной продуктовый заказ от Союза композиторов, поэтому Лев Норштейн и его дочь Светлана могли позволить себе на завтрак индийский растворимый кофе и бутерброды со свежим российским сыром и финским сервелатом.

Членам творческих союзов, чтобы оградить от изнурительного стояния в очередях, государство даровало милость: их прикрепляли по месту жительства к продовольственным, где раз в неделю в «отделе заказов» они скромно отоваривались, а по праздникам и вовсе шикарно; ассортимент такого заказа не обходился без красной и чёрной икры, дефицитной осетрины или горбуши, крабов, импортных колбас и прочих гастрономических редкостей того времени.

Сегодня внука к завтраку решили не будить. Пусть поспит в выходной.

Светлана Львовна, допивая кофе, обречённо посмотрела в окно, в котором с недвижной сахаристостью белели крыши окрестных домов, потом перевела взгляд на старика, словно призывая его в соучастники чего-то неотложного и наиважнейшего. Норштейн никак не реагировал на это, сосредоточенно намазывая столовым ножом из светло-серой матовой стали масло на хлеб. Догадывался, что сейчас услышит.

Будильник тикал назойливо и бессердечно.

На подоконнике с внешней стороны притулился голубь и, похоже, чувствовал себя в полной безопасности, иногда чуть поворачивая втянутую в туловище голову, а иногда замирая. В тёплое время года Норштейн кормил на окне множество воробьёв и голубей. Светлана Львовна ворчала, что от птиц одна антисанитария, но справиться с этой отцовской прихотью не могла. Пару раз, когда дочь особенно расходилась, Лев Семёнович переходил в ответ на резкий тон, обвиняя её в чёрствости и возмутительном птиценепавистничестве.

— Днём снег наверняка кончится, и его начнут сбрасывать с крыши. Эта дура Толстикова, естественно, не догадается вовремя поставить ограждения.

Точно прибьёт сегодня кого-нибудь. Пойдёшь гулять — будь осторожен, папа. Когда же нас избавят от этой невежественной женщины?! Говорят, на неё жалоб целая куча. Но в Союзе композиторов вашем ничего не хотят предпринимать. Ты не планируешь позвонить в Музфонд Восканяну или, может, Терентьев наконец вмешается? Сколько мы должны мучиться?

Лев Семёнович давно убедился, что неутомимая борьба дочери с управдомом Толстиковой — это её дань пресловутой «гражданской позиции», с годами окончательно пришедшей на смену увлечениям её молодости и почти непоправимо искорёжившей её натуру.

Её невозможно было убедить в том, что Глафира Толстикова, жизнерадостная, краснолицая, вероятно, вороватая и не вполне добросовестная тётка, и не могла быть другой. Трудно представить управдома, читающего под подушкой самиздат, а по вечерам декламирующего в дворницкой Северянина. Если такой управдом когда-нибудь появится, человеческое сообщество рухнет в пропасть, как отвалившийся от скалы кусок.

Норштейн глубоко и безнадёжно вздохнул, перед тем как в очередной раз начать объяснять дочери, что не намерен обращаться ни в Музфонд, ни в Союз композиторов по поводу управдомовских бесчинств, но в этот момент в дверь позвонили. Позвонили так неожиданно и так настойчиво, что Лев Семёнович вздрогнул и чуть было не пролил кофе. Светлана Львовна нахмурилась. Обратилась к отцу:

— Ты ждёшь кого-то?

— Кого я могу ждать? Наверно, к тебе кто-то.

Звонивший настойчиво давил на кнопку, потом прекратил.

Светлана торопливо подошла двери, строго спросила:

— Кто там?

— Это я, мама...

Глазка в их двери не было.

— Кто? — Женщина отказывалась верить своим ушам.

— Арсений, — отозвался голос, совсем не изменившийся за эти годы.

Одна её рука рванулась к замку, быстро провернула его, вторая — потянула ручку на себя.

На лестничной клетке, в чёрной, с остатками снега на козырьке шапки-ушанки и в поношенной дублёнке, переминался с ноги на ногу её непрощённый старший сын Арсений Храповицкий.

В прихожую залетал колкий неуютный холод.

— Пустишь? — робко спросил он.

Ответа не последовало. Светлана Львовна замерла. Ни один из её инстинктов сейчас не подсказывал ей, как себя вести.

Она чуть посторонилась. Арсений, приняв это за разрешение, перешагнул порог когда-то родного дома, неловко обнял окаменевшую Светлану Львовну и сразу почти отошёл от неё на шаг, будто обжёгся. Потом снял шапку, некоторое время рассматривал её, провёл рукой по волосам.

Румянец заливал его щёки.

— Кто там? — крикнул Лев Семёнович из комнаты.

— Арсений, — ответила Светлана Львовна так, будто в этом не было ничего необычного.

Услышав это, Лев Семёнович, вмиг сбросив несколько десятков лет, выскочил в коридор и кинулся обнимать внука. Обнимал долго, что есть силы прижимал к себе, тыкался сухой щекой ему в волосы, ощупывал, похлопывал по плечам.

Младший брат Арсения Дима проснулся и всё слышал. Неужели это не сон? И как теперь быть?

1948

Шура Лапшин со своей болью играл в прятки, и она всегда его находила. Имело значение только то, в каком месте она его настигнет и что с ним после этого сотворит. Сегодня боль, тягучая, всепоглощающая, поднимающаяся от живота к венам на шее, а потом обваливающаяся вниз, почти до самых пальцев ног, прицепилась к нему, как только он вышел из консерватории на заснеженную и растекающуюся темноватыми переулками в разные московские стороны улицу Герцена. Лапшин не сомневался, что дело его «швах». Хотя «дело швах» оборот всё ещё опасный. Ляпнешь где-нибудь, и заподозрят, что ты немецкий шпион. Война, конечно, кончилась. Но многое от неё осталось.

Нет, сегодня он не попадёт к себе. Надо спасаться у Людмилы, на Борисоглебском. У неё всегда есть для него морфий. Она работает в больнице, где и достаёт наркотик. Вероятно, это очень рискованно. Но без дозы он пропадёт.

Боль заслоняет всё.

Лапшин всмотрелся в перспективу улицы — не ползёт ли вдалеке автобус, — но ничего похожего не обнаружил.

Придётся идти пешком.

Он прислонил ладонь к животу, словно боясь, что от боли тот отделится от тела и упадёт на мостовую, и побрёл к площади Никитских Ворот.

«Завтра можно будет зайти к Льву Семёновичу, он живёт в двух шагах от Люды, — отвлекал себя от боли Лапшин. — У Норштейнов такое милое и гостеприимное семейство».

Боль караулила каждый его шаг и колола с настойчивостью и ритмичностью старшины, заботящегося о том, чтобы никто не сбивался с ноги. Вряд ли жив тот старшина, что их, молодых ополченцев, учил уму-разуму летом 1941 года. Шура помнил его огромные усы, почти карикатурные, помнил его голос, весьма бравурный, помнил, как он, сгорбившись, присев на бревно, курил. А вот как звали его, забыл.

Переходя Никитский бульвар, Шура едва не потерял равновесие и чуть не шлёпнулся прямо на трамвайные рельсы. Хорошо, удержался и успел на другую сторону. Трамвай громыхал не так уж и далеко. «Не хватало ещё под колёса угодить», — подумал он, оглядываясь на два покачивающихся вагона, несущихся мимо него к Пушкинской площади. Двинулся дальше, но невыносимая резь в желудке остановила его. И он застыл рядом с заиндевевшими деревьями, такой же одинокий и беспомощный, но значительно менее стойкий. Необъяснимый город не выказывал никакого сочувствия.

Ему двадцать семь лет, а он почти инвалид. Проклятая язва! Хотя если бы не она, подстрелил бы его какой-нибудь фриц. А так комиссовали после недели военной службы. Повезло, можно сказать!

Скорей бы уже укол!

Неужели ему до конца дней придётся сидеть на морфии? Сколько ещё Людочка сможет его добывать для него? Лёгкие словно забила какая-то клейкая масса, которая мешала вдыхать и без того густой и холодной воздух московского февраля.

Надо идти. Расстояние совсем пустяшное, но как же тяжело его преодолеть.

На углу улицы Воровского и Борисоглебского переулка маячили два подозрительных субъекта в расстёгнутых тулупах. Один из них развязной походкой подошёл к Лапшину, спросил закурить, но, увидев искажённое лицо молодого композитора, убрался. Шура расслышал, как он объяснял дружку:

— Какой-то больной, похоже! Вдруг заразный? Сейчас заразы полно.

На лестнице в подъезде дома, где в многонаселённой коммуналке проживала его бывшая одноклассница Людочка Гудкова, Шура вконец обессилел. Боль вцепилась в него, как кот в воробья, и волокла куда-то еле живого.

Около звонка теснились таблички, сообщающие, сколько раз кому из соседей звонить.

Гудковой — два раза.

После школы Шурик уехал поступать в Московскую консерваторию, и они долгое время с Людой не виделись, отправляя друг другу письма, сперва каждую неделю, а потом всё реже. Во время войны, когда в городе было полно эвакуированных, он неожиданно вернулся, но с Людой ему удавалось встречаться не часто. Она днями и ночами дежурила в городской больнице, а Шура ухаживал за больными сестрой и отцом. Отец его умер в 1943 году. На Шурике на похоронах лица не было, он так корчился, что Люда испугалась, что он сам сейчас умрёт.

Вскоре Шура снова перебрался в столицу. Переписка не возобновилась.

И Шуре неоткуда было узнать, что Люда летом 1944 года попросилась на фронт и до самой Победы прослужила медсестрой в медсанбате одной из частей Первого Белорусского.

Когда в 1946-м её перевели на работу в Москву, первым делом пришло в голову, здесь ли Саша? Вдруг он снова близко? Однако она не стремилась

во что бы то ни стало найти его. Вероятно, надеялась, что он сам объявится. Или судьба как-то приведёт её к нему.

Однажды она отправилась в магазин «Консервы» в надежде отоварить карточки. Друг детства стоял на углу Медвежьего переулка и улицы Герцена, курил, улыбался и поглядывал на небо, словно ждал там каких-то немедленных изменений.

Люда увела его тогда к себе на Борисоглебский, напоила чаем, он рассказал ей всё о себе, она ответила тем же. Услышав про тяжкую болезнь Лапшина и про то, что ему прописано только лечение морфием, она не испытала колебаний: её долг — помочь другу. С тех пор так повелось: когда ему становилось совсем невмоготу, он приходил к ней. И она делала ему укол морфия, который крала из больничных запасов. Почему-то её сперва совершенно не страшило, что кража вскроется и её накажут. Ведь она уносит из больницы ампулы с морфием для благого дела. За что её карать? Но эта уверенность постепенно таяла. Морфий для Лапшина служил лишь временным облегчением, а недостача препарата в клинике всё увеличивалась.

Люда, впустив Лапшина, привычно засуетилась. Помогла ему раздеться, уложила на кушетку и помчалась на кухню, чтобы вскипятить шприцы. Шура расслышал, как Люда и соседка обсуждали недавнюю отмену продовольственных карточек.

Боль замутнила сознание. Всё вокруг теряло чёткость.

Услышав шаги Людочки, он приободрился. Счастье близко. Бывшая одноклассница поставила укол в вену — так эффект быстрее, чем внутримышечно.

Гудкова присела на край кушетки. Заглянула в его глаза, постепенно проясняющиеся.

Замшев М.

З 26 Концертмейстер : роман / Максим Замшев. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 512 с.

ISBN 978-5-389-24234-0

Год 1947-й. Медработник Людмила Гудкова крадет из больницы морфий для своего друга композитора Александра Лапшина.

Год 1951-й. Майор МГБ Апполинарий Отпевалов арестован как причастный к деятельности врага народа, бывшего руководителя МГБ СССР Виктора Абакумова, но вскоре освобожден без объяснения причин.

Год 1974-й. Органы госбезопасности СССР раскрывают сеть распространителей антисоветской литературы в городе Владимире.

Год 1985-й. Пианист Арсений Храповицкий звонит в дверь собственной квартиры, где он не решался появиться более десяти лет.

Каким таинственным образом связаны между собой эти события?

Как перебороть себя и сохранить в себе свет, когда кругом одна тьма?

Об этом и о многом другом роман Максима Замшева «Концертмейстер».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

МАКСИМ АДОЛЬФОВИЧ ЗАМШЕВ

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР

Ответственный редактор Александр Етоев
Художественный редактор Виктория Манацкова
Технический редактор Мария Антипова
Корректоры Елена Шнитникова, Ирина Киселева

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 22.08.2023. Формат издания 84 × 108 $^{1}/_{32}$.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 26,88.
Заказ № .

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.): 16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
пер. Партийный, д. 1, к. 25

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

H-AVS-33196-01-R